



## ОН НЕ МОГ НЕ ПИСАТЬ

*(Воспоминания об отце)*

Мне часто приходилось слышать: «Родина... на родине...», «Спасовка», «Новоспасовка». (Село Новоспасовка, Грибановского р-на, Воронежской обл.) Давно хотелось побывать в тех местах и проехать дорогой, которая привела бы к дому моих отцов, но удалось мне это сделать очень поздно. И наконец-то вот она, эта долгожданная дорога. Где-то здесь, совсем рядом, совсем близко — Спасовка. Но где? Спросили идущую по обочине женщину. Она посмотрела на нас с удивлением (мол, простых вещей люди не знают!) и вдруг громко с укором произнесла: «Да вы в уме ль? Вон Спасовка!» Небрежно махнула рукой куда-то в сторону луга и быстро пошла дальше. Смешно, но это «да вы в уме ль» оказалось таким близким! Оно окончательно убедило: мы дома! Сама фраза, много раз слышанная, интонации, которые звучали в словах незнакомого человека, мне были знакомы с детства.

И вот она, тихая, скромная земля моих предков. Она излучает что-то такое, от чего становится теплее, спокойнее на душе. Она напоминает о тех, кто когда-то здесь жил, и рассказывает о них.

Вот холм. Входишь на него и видишь картину, близкую каждому русскому человеку, выросшему в средней полосе России: селения, луга да поля — поля до горизонта. Вдали на одном из них — темное пятно. Деревенское кладбище, раньше говорили — «погост». Землю вокруг этого места никогда не вспахивали — берегли память. Но со временем с годами кладбище зарастает все больше и больше буйной зеленью. Неужели когда-то она скроет его навсегда, как скрыла высокая сочная трава место, где стояла церковь, а напротив — дом священника?

Трава шелестит и кланяется земле, как бы сливаясь с ней. И этот холм, и трава, и земля помогают нарисовать в воображении картины прошлого. Они едва видимы, изображения колеблются в мареве, но ты все-таки видишь... Вот церковь, которая когда-то возвышалась на этом холме... Друг за другом поодиночке или целыми семьями тянутся к ней люди. Мужчины — с обветренными лицами, с заскорузлыми

от работы руками. Женщины — нарядные, покрытые чистыми платками. Они несут на руках и ведут рядом с собой ребятишек, в глазах которых, несмотря на серьезность обстановки, светится озорство. Но дети становятся смиренными, осенив себя крестом и переступив порог церкви. Знают, отец Николай строг и зорко будет следить за ними во время службы. Вот уже слышен его голос... Слова молитвы...

В окно, что справа, сельскому священнику видна небольшая могилка. В ней похоронены двое его детей — Люся (по метрике Елена) и Коленька. Они всегда рядом с ним. Он молится за них... и за живых.

А ты теперь стоишь на холме, и тебе кажется, что в мире сейчас ничего нет, кроме этой земли предков, этих холмов, этой травы, этого степного ветра и разрушенного прошлого. От него здесь почти ничего не осталось, кроме едва заметного углубления от фундамента дома священника, кроме старых кустов сирени около него да еще кое-каких свидетельств того, что здесь когда-то было. Отсюда разошлись пути людей, близких тебе, и эти трудные, тернистые пути-дороги зовут и тебя пройти по ним. К сожалению, лишь на склоне лет начинаешь осознавать, что ничто так не очищает, как возможность побывать на земле отцов, подышать воздухом, которым они дышали, поклониться земле, на которой они жили и которая их кормила. Невольно оглядываешься на свою жизнь, как будто меряешь ее их мерками, и думаешь: так ли живешь, то ли делаешь? А то, что порой окружает тебя, наталкивает на грустную мысль. Может быть, люди многое растеряли в дороге именно оттого, что перестали чувствовать себя виноватыми за учиненный разор: за разрушенные церкви, за загубленные погосты, за безвременные смерти, за то, что там, где когда-то кипела жизнь, остались лишь холмы, заросшие травой, да заколоченные дома?

Здесь 16 ноября (29 по новому стилю) 1905 года в большом многолюдном селе, которым была Новоспасовка, родился мой отец — Троепольский Гавриил Николаевич (до появления в печати его имя имело написание с одной буквой «и»).

\* \* \*

Давно-давно, в 1901 году, в Новоспасовку вместе с молодой женой приехал только что получивший приход протоиерей Троепольский Николай Семенович. Здесь началась история новой счастливой семьи. Рождались дети, и, конечно, все силы супруги отдавали их воспитанию и образованию. Казалось бы, сельская жизнь может ограничить развитие человека. Но нет, дом священника был домом, в котором жили интеллигентные люди, а это качество не вытравить ничем, это остается навсегда и непременно переходит потомкам. Родители смогли передать своим детям многое из того, что знали и умели, ведь каждый от



природы был по-своему талантлив, кроме того, оба имели хорошее образование. Мама, Елена Гавриловна, «удостоена звания учительницы начальных училищ без всякого испытания», Николай Семенович окончил духовную семинарию и обладал разносторонними знаниями. Родители учили детей грамоте, пристрастили их к чтению (в доме была хорошая библиотека). Часто из окон слышались звуки фисгармонии, пение. Но, пожалуй, самое важное то, что они приучили их к труду и смогли в них воспитать непреодолимое желание учиться и идти дальше.

\* \* \*

После основательной домашней подготовки старшие дети — Лиза, Зоя и Гаврил — учились в женской и мужской гимназиях города Новохопёрска (Воронежская обл., райцентр). Вскоре военные и революционные события не только эхом отозвались в этих местах, но развернулись со всей силой, как и во всей России, и занятия пришлось прекратить.

Как только стало возможным, в 1919 году дети Николая Семеновича и Елены Гавриловны продолжили свое образование. Лиза поступила на медицинский факультет Харьковского университета, а Зоя и Гаврил стали учиться в только что открывшейся Единой трудовой школе 2-й ступени в селе Новогольское, расположенной примерно в 14 километрах от Новоспасовки. Преподавали в школе высокообразованные люди. Это были и присланные учителя, и просто представители старой интеллигенции, и даже бывшие местные помещики. Со своими учениками, а большая часть из них вышла из крестьянских семей, они не только щедро делились своими знаниями по своему предмету, но и старались развить их, расширить круг их интересов, хотя слово «старались» здесь не совсем уместно. Эти люди сами по себе были примером высокой культуры и в то же время необыкновенной простоты в общении. Все это естественно, без всяких назиданий впитывалось учащимися, и многие из них под влиянием таких педагогов впоследствии сами изменились и смогли изменить свою жизнь. Это был важный период в жизни молодежи, живущей в окрестных селах.

В 1919 году (возможно, в начале 1920 г.) в Новогольское приехал молодой учитель литературы Григорий Романович Ширма. Белорус по национальности, небольшого роста, усы, бородка клинышком, внимательные глаза. Он был всего на несколько лет старше своих учеников, но вместе с другими учителями сыграл огромную роль в становлении многих юношей и девушек, и именно благодаря ему они на всю жизнь полюбили литературу. Достаточно сказать, что самый близкий друг Гаврила Федор Погрешаев (будущий генерал-майор авиации), выросший в неграмотной крестьянской семье, знал всего «Евгения

Онегина» наизусть. И Гаврил теперь был не маленький мальчик с трясущимися коленками, который когда-то в гимназии читал перед классом свое сочинение, а молодой человек, который уже тогда навсегда связал с литературой свою дальнейшую жизнь. Григорий Романович поставил Гаврила на литературный путь, раскрыл в нем те задатки, которые проявлялись еще в детстве. В июне 1922 года Григорий Романович Ширма уехал на родину, в Белоруссию. Но много лет продолжалась тесная дружба и переписка народного артиста СССР, руководителя знаменитой на весь мир Государственной академической хоровой капеллы БССР с его бывшими учениками и одним из них, ставшим впоследствии известным русским писателем, — моим отцом.

Однажды, разбирая архив, я нашла письмо, сильно поразившее меня. Оно немного измято, написано карандашом. Его автор — Митрофан Фирсов, один из учеников новогольской школы: «Вот теперь, когда мне уже скоро пятьдесят и уже отгрохотала война своим оглушительным громом, не так давно окончилась шумная серебряная свадьба чистейшим серебром, седины ни в душе, ни в голове я не чувствую... Может быть, рано? Но понравились твои слова: „Человеку, перевалившему за пятьдесят-шестьдесят, часто кажется, что молодым он был совсем недавно. Так уж устроен человек, и ничего с этим не поделаешь“. Может, поэтому я считаю себя в расцвете сил, что так богато и щедро дал нам чернозем, который начинался с Новогольского и до Елань-Колена — и дальше все чернозем и чернозем. И вот из этого, я бы сказал, удобнопорного материала вышли мы на свет. Кто мы? Мы — это я, ты и все наши друзья. Мы выдержали все на свете. Мы нисколько ничему не удивляемся. А почему? Да потому, что мы всегда впереди. Все то, о чем бы разговор ни зашел, делаем мы! Чему же нам удивляться! Я, например, рад — то, что знаю я, министр не знает (хотя меньше его получаю). Меня и мое достоинство это вполне удовлетворяет, и этим я горжусь. Горжусь тем, что я из Новогольского облетал всю страну и был за ее границей. Я горжусь тем, что я стране помог тем, о чем она меня просила».

Какие сильные, целеустремленные люди вышли из российской глубинки!

\* \* \*

Уже в первое десятилетие супружества счастливая семейная жизнь Николая Семеновича и Елены Гавриловны постепенно складывалась трагично. Умирили дети. Умер полугодовалый Коля, умерла двенадцатилетняя Люся (по метрике Елена), умерла девятнадцатилетняя Лиза. Было шестеро, а в живых остались только трое — Зоя, Гаврил и ма-



ленькая Валя, и дороги им везде были закрыты: начались гонения на священнослужителей. Вся жизнь резко изменилась. И все-таки Гаврил и Зоя продолжали учиться. В 1922 году они вместе с друзьями поступили в последний класс Новохопёрской школы 2-й ступени (расположенной в здании бывшей женской гимназии) и в 1923 году экстерном ее закончили.

И как же везло ребятам на встречи с замечательными людьми! Молодой директор гимназии, учитель немецкого языка Евгений Болеславович Дурасевич, человек высокой культуры, стал для ребят настоящим другом и в то же время наставником. С ним, как и с Григорием Романовичем Ширмой, переписка также продолжалась до конца жизни.

А тогда нужно было думать о том, как строить жизнь дальше. Вместе с друзьями Гаврил поехал в Тамбов поступать в летное училище. Его не приняли: виною тому близорукость и «поповское» происхождение. Попробовал поступить в Новохопёрское педагогическое училище. Снова не приняли — снова «не в тот класс попал». Пути оказались отрезаны. Об этом он позже напишет:

Быть может, соколом взлетел бы я,  
Но... косточку сломали у меня...

\* \* \*

Некоторое время Гаврилу пришлось жить у родителей в Новоспасовке, и только в феврале 1924 года он смог продолжить образование, поступив сразу в третий класс сельскохозяйственного училища в Алешкáх (Воронежская обл., Терновский р-н).

Село Алешкí заканчивалось улицей с названием Дворики. Выше нее, на горе, стояла школа. Неподалеку — несколько кирпичных домов, в которых жили преподаватели. А весь этот «комплекс» местные жители называли Ежовкой, почему — теперь уже трудно установить. После Октябрьской революции, после создания Уездного отдела народного образования (УОНО) это учебное заведение именовалось как «Борисоглебское среднее сельскохозяйственное училище», с 1925 года — «Школа полеводства», а позже, в тридцатые годы, — «Алешковский ветеринарный зоотехникум».

И здесь судьба в очередной раз свела Гаврила с замечательным человеком, и опять с учителем, — Виктором Николаевичем Божко, преподавателем литературы. В 50–60-е годы семья Божко жила в Воронеже, папа часто встречался с Виктором Николаевичем и после его кончины всегда помнил о нем. Он умел помнить своих учителей.

В мае 1924 года выпускникам выдали удостоверения об окончании училища, и все разъехались в разные места. Гаврил вернулся к родителям. К этому времени гонения на священников усилились, семью Николая Семеновича лишили дома, предоставленного ему по приезду в Новоспасовку, всем пришлось переселиться в перестроенный амбар. Летом 1925 года двадцатилетний Гаврил уезжает из родных мест и начинает самостоятельную жизнь в селе Питим (Тамбовская обл., Жердевский р-н.). Он работает «избачом» (в деревнях долгое время существовали так называемые избы-читальни, т. е. библиотеки), затем — учителем и заведующим начальной школой, а также на курсах ликвидации безграмотности. Более двадцати лет назад я побывала в этом селе, познакомилась с некоторыми его жителями, узнала, что очень пожилые люди помнили молодого учителя, показывали мне старые школьные фотографии, никак не желая с ними расставаться, и жалели о раннем отъезде Гаврила Николаевича из села.

\* \* \*

С 1927 по 1931 год Гаврил учителствует в селе Махровка (Воронежская обл., Борисоглебский р-н). Здесь произошла его встреча с писателем Николаем Николаевичем Никандровым (1878–1964), которого в те годы хорошо знали в литературных кругах. Он был знаком с Л. Н. Толстым, А. Грином, М. Горьким, А. И. Куприным. По обстоятельствам времени, жить ему приходилось в разных местах. Умер в Москве, на Арбате, почти нищим и одиноким. Тогда, давно, встреча с этим известным тогда человеком, сейчас почти совсем забытым, стала очень важным событием в судьбе моего отца. Сохранились его стихи тех лет, но из письма Никандрова Гаврилу становится ясно, что он уже тогда пробовал свои силы в прозе и именно в Махровке подвергся серьезной критике, но и получил поддержку «настоящего» писателя:

«11 марта 30 года.

Итак, Гаврил Николаевич, рукопись Вашу прочел. Нахожу, пишите Вы неплохо. Я ожидал худшего. Выделил очерк VI-й — как Федька убил отца; III-й — „новое“ — тоже рисуночно написано, лучше первых двух очерков; последний очерк — „Суд“ — тоже.

⟨...⟩

Отдает искусственностью, несерьезностью, фельетонно, а самые очерки реалистичны и весьма серьезны, даже трагичны. Отсутствуют описания внешних черт как мальчишек, так и мужиков. Мало красок, — однообразно, серовато. Но, повторяю, писать умеете и при желании, при работе добьетесь — Вас будут печатать.

⟨...⟩



Рукопись посылаю Вам с моими маленькими пометками.

Если что-ниб. напишете маленькое, равное по размеру одной главе „Федьки“, то шлите в „Кр. Ниву“, в „Прожектор“. Только давайте современнее. Печатались ли Вы?

Кстати, напишите мне, какие у Вас в Махровке перемены, много ли в колхозе, отменены ли раскулачиванья, кто председельсовета и пр.

Кланяюсь Вашей семье и Шуваевым. Ваш Н. Ник.».

Так в Махровке зачинался роман «Чернозем». Его автору было тогда 25 лет. Возможно, его жизненный путь сложился бы по-другому, если бы не эта встреча в заброшенном, многим неизвестном бедном селении. Теперь совершенно ясно: именно здесь рождался мой отец как писатель. Но далее, все больше и больше увлекаясь, занимаясь самообразованием, упорно учась, а иногда и на ощупь, постепенно он пошел двумя тропами: агронома и писателя. Они-то и слились в одну долгую трудную дорогу. Трагические события шли за ним, и случилось страшное: после нескольких арестов четвертого июля 1931 года был расстрелян Николай Семенович Троепольский. Мой отец никогда не забывал о нем, и светлая память об этом человеке всегда хранилась и хранится в нашей семье.

\* \* \*

А жизнь продолжалась. Понемногу робко пробуя себя в литературном творчестве, работая учителем, Гаврил Николаевич, с детства познавший сельский труд, серьезно занялся агрономией. Из автобиографии: в Махровке «при школе мною был организован опытный участок, который случайно посетил представитель Воронежской опытной станции. Он и предложил мне работу в системе этой станции. (...) С 1931 по 1936 год по приглашению Воронежской областной опытной станции работал младшим научным сотрудником Алешковского опорного пункта этой станции в должности заведующего этим пунктом и одновременно заведующим сортоиспытательным участком. (...) В 1936 году по личному желанию переведен на Острогожский опорный пункт Воронежской опытной станции в должности заведующего опорным пунктом и одновременно заведующим сортоиспытательным участком Всесоюзного института растениеводства (ВИР). В 1937 году при организации Государственной комиссии по сортоиспытанию при НКЗ СССР назначен заведующим Острогожским сортоиспытательным участком в с. Гнилое Острогожского р-на. (...) В 1937–1938 годах окончил высшие курсы по сортоиспытанию при Московской с/х академии им К. А. Тимирязева». До начала пятидесятых Гаврил Николаевич



занимался селекцией нескольких сортов зерновых культур. Выведенный сорт проса Острогожское-9 был районирован в Воронежской обл. и представлен на ВДНХ.

Большой жизненный опыт, глубокое знание простых людей, которых он очень уважал, от которых вобрал в себя все самое лучшее, а также теплившийся в нем с детства литературный дар заставляли все чаще и чаще браться за перо. Печататься стал поздно. Не по своей воле слишком долго держал все внутри, но его появление в литературе оказалось необходимым — и он появился. И не где-нибудь, а в журнале «Новый мир» были впервые опубликованы его рассказы. Александр Трифонович Твардовский, главный редактор журнала, благословил «молодого» писателя, которому уже было за сорок, за плечами которого был огромный жизненный опыт и нелегкие годы кропотливого труда. В мартовской книжке «Нового мира» в 1953 году появился его первый рассказ. Александр Трифонович попросил его автора прислать что-нибудь еще, и Гавриил Николаевич присылал все больше и больше. Творческое общение постепенно перешло в тесную дружбу, которая не прерывалась все последующие годы.

Не имею дара для литературного анализа произведений моего отца и считаю бестактным даже пытаться заниматься этим, но посмею выразить одну мысль: ни один критик, ни один читатель так, как я, не поймет их автора. В каждой его книжке, в каждой строчке, в каждом слове я вижу близкого человека. Я чувствую, где меж строк он прячет едва заметную улыбку, где сию минуту громко возмутится, а где и заплачет. Он много страдал от пережитого, но также и от того, что видел вокруг. Видел — и писал. Написанное рождалось в муках и больших трудах. Он много раз переделывал свои произведения, работая над их языком, композицией, вылепливая образы; сошедшие со страниц, как живые, некоторые из них стали нарицательными и продолжают жить даже среди нас. Он замечательный сатирик и публицист. Но и всегда лирик. Особое восхищение вызывают его описания природы, которая всегда была его частью. Она живет во всех его произведениях. Вот что надо читать и перечитывать, очищая свою душу от всего плохого, суетного.

\* \* \*

Говоря о творчестве моего отца, некоторые представляют его лишь как автора «Белого Бима...». Не спорю — это главная его книга. Но все-таки очень хочется, чтобы читатель знал и другие его произведения. В них, а они не менее талантливо написаны, есть все, что волновало автора. Повторяю, он много видел в жизни, много знал, многое понимал, переносил это на страницы своих произведений, совершенно разных по

жанру. Это целая серия рассказов, фельетоны, публицистические статьи и даже сценарий кинофильма «Земля и люди» (1955). Это сатирическая повесть с трудной судьбой — «Кандидат наук» (1957). Это роман о коллективизации — «Чернозем» (1958–1961). И это, конечно же, замечательная повесть — «В камышах» (1963). Один человек коротко, но емко сказал об этой книге: «Прочитал и будто родниковой воды напился». Долго, упорно, впрочем, как и над всеми произведениями, он работал над сатирической пьесой «Постояльцы» (1971), послужившей ответом на многочисленные проверки государственных комиссий после публикации в «Новом мире» очерка «О реках, почвах и прочем...» (1965).

Очень тяжело он достался моему отцу, долго не заживала нанесенная ему рана. Но еще больнее отзывался в нем вред, причиненный людьми природе, которую с детства хорошо знал, любил, как никто, тонко ощущал ее красоту, понимал ее значение и ценность. Он видел, что порой она окончательно гибнет, и вставал на ее защиту.

Он часто сознавал, что о многом было бы бесполезно громко говорить, но не мог не говорить, тем более не мог не писать и, несмотря ни на что, делая очередной шаг, иногда опасный, снова брал в руки перо. Так было и в случае с очерком «О реках...».

Перечитываю его и вижу речку своего детства — Тихую Сосну. То широкую и спокойную, со сказочными водорослями, рыбешками и большими рыбами, чуть ли не тебе в руки неожиданно выплескивающими себя на поверхность зеленоватой воды, со снующими в попытках сохранения своей жизни косячками мальков: туда — сюда, туда — сюда. То совсем узкую, мелкую, звонкую (по-местному, «быстряк»), с необыкновенно прозрачной, чистейшей ледяной водой, не водой, а с невероятной силой бегущим хрустальным потоком.

А сколько в ней било ключей! Мощные, сильные, они как бы выталкивали из глубины земли живительную влагу. В жару разморит тебя, а ты наклонишься к такому роднику, пьешь до ломоты в зубах, потом умоешься, побрызгаешься — и усталости как не бывало, снова в тебе есть силы в который раз пылливо исследовать прибрежную траву, камыши, наблюдать за житем-бытьем всякой береговой живности, рвать цветы. Одно слово — «источник»! А на мелководье в некоторых местах часто-часто сочились сквозь песок мелкие ключики. Их было так много, что трудно было войти в воду: от холода сводило ноги. Но ты, бывало, все равно лезешь в реку. Такие минуты еще не осознанного счастья запоминаются на всю жизнь. Нет теперь этих родников вблизи родного города: построили высокую дамбу, перекинули большой мост через маленькую речку — похоронили источники, истоки твоего детства.



А еще, перечитывая очерк, вижу высокую стопку папок. Их тринадцать. Не умещаются на одной полке шкафа. Зеленые, серые, коричневые — разные. В них все труды и страдания отца за мою речку и за многих ее сестер, таких же прекрасных. В них, помимо огромного личного опыта, — работы известных ученых по мелиорации.

Казалось бы, очерк должен был бы приобрести чисто публицистическое звучание, научный характер. Но и здесь нет-нет да и пробьются, как те роднички, лирические нотки. Здесь все живое, все одушевленное: и «звук моторчика», и «израненная река», «чистая, прозрачная, как слеза», здесь слышится ее «немой укор, просьба о пощаде». И слышим мы, «как река стонет», и всем сердцем откликаемся на этот стон.

Люблю эту реку, как близкого человека. Она пока еще жива! А ведь ей наносили смертельные раны. Пытались распахать и осушить ее поймы. Рыли «так называемые прокопы для спрямления русла». Ушла вода. Ушла рыба. Уничтожены, изуродованы луга. «Реку спустили, а болота остались!» До сих пор пожилые жители Острогожска помнят застрявший в иле покосившийся уродливый земснаряд. Долго его вытаскивали. Время мою реку немного вылечило, как вылечивает человека, который остается инвалидом и неимоверными усилиями все-таки выживает. Так и река до сих пор героически пытается жить вместе с ее многочисленными сестрами, хотя от некоторых из них остались лишь ручейки да болотца, а кое-где совсем высохшие русла. Хочется вместе с отцом заплакать, только некому теперь сказать: «Не надо... Ну же...»

\* \* \*

Идут чередой годы, летят, напоминая о себе. А в комнате отца будто все застыло, замерло. Здесь — давящая тишина. Ее нельзя спугнуть, нельзя нарушить. Лишь иногда вдруг покажется, что оттуда раздастся негромкое ритмичное чтение, как это часто бывало раньше, когда он потихоньку что-то декламировал. Затем писал — и снова декламировал. И снова писал, никого не посвящая в то, что он делает. Только потом, по разорванным в мелкие клочки черновикам, можно было понять: стихи!

Да, остался целый пласт его творчества, никому еще не известный, то сокровенное, что не всякий и не всегда открывает другим. Находясь уже в довольно преклонном возрасте, он все-таки решился и составил поэтический сборник. Название его говорит о многом — «С болью и надеждой». Здесь и строки, написанные совсем еще наивным юношей, и строки, которые сложил старый мудрый человек... с болью и надеждой.



\* \* \*

Несмотря ни на что, много хороших лет, радостных дней и мгновений знал отец в своей жизни. Он радовался песне жаворонка, когда вместе с солнцем выходил в поле, чувствовал себя отдохнувшим и умиротворенным после охоты или рыбалки, был счастлив, когда рождались дети. Семья для него была самым дорогим, нерушимым; он жил в ее окружении и всегда был ее опорой — так он был воспитан, так было у его родителей и дедов. Он всегда настаивал на том, чтобы мы все — дети, внуки, родные, двоюродные — как можно чаще собирались в его доме. В маленькой комнатке за большим овальным столом едва все размещались, дети и взрослые. Он был «во главе». Много говорил, неторопливо, но интересно. Приподнимал брови, прятал улыбку и что-то принимался рассказывать, потом оживлялся и начинал шутить. Иной раз, прежде чем сказать что-то очень смешное, сам затягивался долгим смехом — и все тоже начинали смеяться, хотя еще ничего и не услышали. Часто удивлял неожиданными экспромтами, подобными надписи на маленькой картонной коробочке с разными болтиками, шайбочками, гаечками. Эта коробочка до сих пор лежит у меня. Ее надпись гласит: «Чтобы мелкие детали никуда не улетали!» Так он постоянно шутил, острил, но не терпел, если во время рассказа кто-то его прерывал. Сердился. И это было счастье. И этого больше не будет *никогда*... Мы, как все дети, которые еще никогда никого не теряли, тогда не совсем понимали, насколько драгоценны были те дни и даже короткие минуты близости к родителям и друг к другу. А он понимал и знал, что такое счастье. Очень давно написано им стихотворение, которое он так и назвал: «Что такое счастье?» Вот они, такие простые, такие понятные строки:

Счастье — это парня нежные шептанья,  
С первым поцелуем первая любовь,  
Юный бред, страданья, радость ожиданья  
Встреч вечерних снов, поцелуев вновь.

Счастье — это мальчик, ласковый мой Саша,  
Это щебетунья маленькая дочь,  
День весенний теплый в деревушке нашей,  
Лунная и тихая сиреневая ночь.

Теплый ветер. Солнце. Пахнет черноземом.  
В борозде степенный, как хозяин, гроч.  
Молодая травка. С вешним перезвоном  
Мчится жеребенок через пашню вскачь.

Тракторов урчанье. Жаворонков трели.  
Красная букашка на травке впереди.  
Там вдали, у лога, девушки запели.  
Хочешь видеть счастье — в поле выходи.

Долгая жизнь моего отца, вопреки всему не загубленная, — это наша история, в прямом смысле этого слова. Здесь меня могут упрекнуть в красивости и максимализме. Пусть. Его судьба — это наше прошлое, что так болезненно прошло через него, это наше настоящее, которое он предсказывал, предостерегая людей от ошибок, и в какой-то степени, возможно и в большей, — наше будущее. Да, если бы прислушивались к тому, о чем он писал в своих книгах, статьях, смело и с болью говорил в выступлениях и просто в беседах с людьми, то можно было многого избежать и даже сейчас еще многое поправить. Но ведь не слушали, не хотели! А если бы? Возможно, жизнь землепашца сложилась бы гораздо лучше, реки были бы полноводнее, не приносили бы беды моря, сработанные «умельцами». И природа была бы краше, и человек добрее. Ах, если бы повторяли уроки! Ведь есть «учебники»!

Сразу после его кончины в воспоминаниях одного «товарища» (а их было достаточно «на местном уровне») прозвучало мнение: Троепольский в 60-е мечтал о коммунизме (?!). Да, во все времена находятся любители думать за других. А ведь многие верили, а молодежь — особенно. Но что это были за годы! Осенью — зимой 63-го люди стояли в очередях за суррогатным хлебом. Никогда не забуду, как пришлось выбросить с трудом купленные полмешка муки — в ней оказался песок. Но не в муке и в хлебе насущном дело. Этот период довольно быстро прошел. И в воздухе, казалось бы, «потеплело». Сколько таких повышений и понижений ртутного столба наблюдал мой отец в своей жизни! Иногда читаешь о некоторых известных людях и узнаешь, что в разные моменты таких скачков «температуры» порой даже самые сильные из них колебались, меняли свои взгляды, иногда резко противоречащие (впоследствии это приводило даже к трагедиям!). Теперь мы не осуждаем их, а даже оправдываем, говоря, что виновата действительность, что они впитали в себя время. Отец никогда не менял своих убеждений, а шел своей прямой дорогой, и его политической принадлежностью была одна — принадлежность к партии честных людей, умеющих сказать свое слово во все времена. Но в думах, его и наших, оставалась примесь горечи. Помнится первое многолюдное празднование его юбилея — шестидесятилетие (1965 год). Чествование происходило в зале Клуба студентов (теперь в этом помещении Кукольный театр). На сцене — длинный стол, накрытый сукном, как и полагалось



в те времена. Президиум. Трибуна. Рядом с ней (но не за ней, а лишь как-то неловко опершись локтем на нее) стоит мой отец, необычно прямой, волнующийся. Зал замер, ждет его слов. И, как всегда, негромко, но, мне показалось, даже с каким-то вызовом он медленно начал: «Родился я в семье священника...» В зале легкой волной пробежало что-то тревожное, едва заметное... Лишь на мгновение — замешательство, крохотная пауза. И вдруг чуть громче, но твердо он неожиданно произнес: «Ведь надо же было мне где-то родиться!» И улыбнулся. Снова короткая пауза — и в зале засмеялись... Разрядил... Не очень хорошо помню, о чем он говорил дальше, кто его поздравлял, волновалась я не меньше его. Потом веселились, шумели, пели, танцевали, но та больно натянутая во мне струнка окончательно и навсегда тесно скрепила меня с отцом и часто напоминала о себе.

\* \* \*

Его не стало 30 июня 1995 года. Многое проходит в памяти, и, наверное, не скоро можно осознать все до конца. Трудно смириться с тем, что ты никогда его теперь не увидишь, никогда не поговоришь, не спросишь коротко: «А папа дома?» Бывало, войдешь в затуманенную дымом комнату и скажешь: «Па, здравствуй...» А он как-то боком, сутулясь, обернется из-за стола, посмотрит поверх очков и тихо протянет: «А... Это ты?» И легко догадаться — входит или нет. Иногда на этой фразе «разговор» и заканчивался, видно было, что сейчас ему не до того. В такие дни он жил своей отдельной внутренней жизнью, уходил глубоко в себя, иногда сутками сидел за рабочим столом и писал, писал до онемения пальцев. Он мало говорил о написанном до тех пор, пока не считал работу окончательно завершённой. Вообще все, что делалось им, делалось долго, но тщательно и аккуратно. Он многое умел: чинил электроприборы, сантехнику, старинную «зингеровскую» швейную машинку и даже строчил на ней брезент. Во всяком случае, брался за все, не говоря уже о «жигуленке», который всегда был в идеальном состоянии, хотя на техстанции бывал только в крайних случаях: возня с ним доставляла ему удовольствие и долгое время поддерживала его физическую форму. Он любил машину, как любят живое существо. А с каким упоением он готовился к охоте или рыбалке! Раскладывал блесны, почти все сделанные его руками, терпеливо что-то вытаскивал, зажав предмет в маленькие тиски, прикрепленные к техническому столику, что-то паял, вырезал пыжи, пересыпал дробь, как солдатиков, расставлял патроны, проверял манки, готовил ружье, потом окончательно придирчиво проверял все и тщательно укладывал необходимое в специальный кожаный сундучок. В комнате как-то по-особому



приятно пахло, было спокойно, умиротворенно. Человек отдыхал... и готовился к отдыху. В такие минуты он был спокоен, благодушен и даже тихо напевал: «черррный ворон» или «летать утки», повторяя одну и ту же фразу несколько раз. Вторгаться в эти действо было нельзя. Его зовут обедать — а он не идет до тех пор, пока не закончит дело.

\* \* \*

Много с тех пор воды утекло. К радостям прибавились тревоги, потери, возня околотитературных «фантазеров», лжедрузей и даже предательство. Входишь в его комнату — и голову берет в тиски свистящая, давящая тишина. Кажется, что он где-то здесь, совсем рядом. Ты останавливаешься и все оглядываешься и оглядываешься назад, в те дни, когда он был жив.

*Н. Г. Гладкова (Троепольская)*

*2019 г.*

*Воронеж*

# БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО

*Повесть*



*Александру Трифоновичу Твардовскому*



## Глава первая

### ДВОЕ В ОДНОЙ КОМНАТЕ

Жалобно и, казалось, безнадежно он вдруг начинал скулить, неуклюже переваливаясь туда-сюда, — искал мать. Тогда хозяин сажал его себе на колени и совал в ротик соску с молоком.

Да и что оставалось делать месячному щенку, если он ничего еще не понимал в жизни ровным счетом, а матери все нет и нет, не смотря ни на какие жалобы. Вот он и пытался в первые два дня время от времени задавать грустные концерты. Хотя, впрочем, засыпал на руках хозяина в объятиях с бутылочкой молока.

Но на четвертый день малыш уже стал привыкать к теплоте рук человека. Щенки очень быстро начинают отзываться на ласку.

Имени своего он еще не знал, но через неделю точно установил, что он — Бим.

В два месяца он с удивлением увидел вещи: высоченный для щенка письменный стол, а на стене — ружье, охотничью сумку и лицо человека с длинными волосами. Ко всему этому быстренько привык. Ничего удивительного не было уже и в том, что человек на стене неподвижен: раз не шевелится — интерес небольшой. Правда, несколько позже, потом, он нет-нет да и посмотрит: что бы это значило — лицо выглядывает из рамки, как из окошка?

Вторая стена была занимательнее. Она вся состояла из разных брусочков, каждый из которых хозяин мог вынуть и вставить обратно. В возрасте четырех месяцев, когда Бим уже смог дотянуться на задних лапках, он сам вытащил брусочек и попытался его исследовать. Но тот зашелестел почему-то и оставил в зубах Бима листок. Очень забавно было раздирать на мелкие части тот листок.

— Это еще что?! — прикрикнул хозяин. — Нельзя! — и тыкал Бима носом в книжку. — Бим, нельзя. Нельзя!

После такого внушения даже человек откажется от чтения, но Бим — нет: он долго и внимательно смотрел на книги, склоняя голову то на один бок, то на другой. И видимо, решил-таки: раз уж

нельзя эту, возьму другую. Он тихонько вцепился в корешок и утащил это самое под диван; там отжевал сначала один угол переплета, потом второй, а забывшись, выволок незадачливую книгу на середину комнаты и начал терзать лапами играючи, да еще и с прыгом.

Вот тут-то он и узнал впервые, что такое «больно» и что такое «нельзя». Хозяин встал из-за стола и строго сказал:

— Нельзя! — и трепанул за ухо. — Ты же мне, глупая твоя голова, «Библию для верующих и неверующих» изорвал. — И опять: — Нельзя! Книги — нельзя! — Он еще раз дернул за ухо.

Бим взвизгнул да и поднял все четыре лапы кверху. Так, лежа на спине, он смотрел на хозяина и не мог понять, что же, собственно, происходит.

— Нельзя! Нельзя! — долбил тот нарочито и совал снова и снова книгу к носу, но уже не наказывал. Потом поднял щенка на руки, гладил и говорил одно и то же: — Нельзя, мальчик, нельзя, глупыш. — И сел. И посадил на колени.

Так в раннем возрасте Бим получил от хозяина мораль через «Библию для верующих и неверующих». Бим лизнул ему руку и внимательно смотрел в лицо.

Он уже любил, когда хозяин с ним разговаривал, но понимал пока всего лишь два слова: «Бим» и «нельзя». И все же очень, очень интересно наблюдать, как свисают на лоб белые волосы, шевелятся добрые губы и как прикасаются к шерстке теплые, ласковые пальцы. Зато Бим уже абсолютно точно умел определить — веселый сейчас хозяин или грустный, ругает он или хвалит, зовет или прогоняет.

А он бывал и грустным. Тогда говорил сам с собой и обращался к Биму:

— Так-то вот и живем, дурачок. Ты чего смотришь на нее? — указывал он на портрет. — Она, брат, умерла. Нет ее. Нет... — Он гладил Бима и в полной уверенности приговаривал: — Ах ты мой дурачок, Бимка. Ничего ты еще не понимаешь.

Но прав был он лишь отчасти, так как Бим понимал, что сейчас играть с ним не будут, да и слово «дурачок» принимал на свой счет, и «мальчик» — тоже. Так что когда его большой друг окликал дурачком или мальчиком, то Бим шел немедленно, как на кличку. А раз уж он, в таком возрасте, осваивал интонацию голоса, то конечно же обещал быть умнейшей собакой.

Но только ли ум определяет положение собаки среди своих братьев? К сожалению, нет. Кроме умственных задатков, у Бима не все было в порядке.

Правда, он родился от породистых родителей, сеттеров, с длинной родословной. У каждого его предка был личный листок, свидетельство. Хозяин мог бы по этим анкетам не только дойти до прадеда и прабабки Бима, но и знать, при желании, прадедого прадеда и прабабушкину прабабушку. Это все, конечно, хорошо. Но дело в том, что Бим при всех достоинствах имел большой недостаток, который потом сильно отразился на его судьбе: хотя он был из породы шотландских сеттеров (сеттер-гордон), но окрас оказался абсолютно нетипичным — вот в чем и соль. По стандартам охотничьих собак сеттер-гордон должен быть обязательно «черный, с блестящим синеватым отливом — цвета воронова крыла, и обязательно с четко отграниченными яркими рыже-красными подпалинами»; даже белые отметины на не предусмотренных стандартом местах считаются большим пороком у гордонов. Бим же выродился таким: туловище белое, но с рыженькими подпалинами и даже чуть заметным рыжим крапом, только одно ухо и одна нога черные, действительно — как вороново крыло; второе ухо мягкого желтовато-рыженького цвета. Даже удивительно подобное явление: по всем статьям — сеттер-гордон, а окрас — ну ничего похожего. Какой-то далекий-далекий предок взял вот и выскочил в Биме: родители — гордоны, а он — альбинос породы.

В общем-то с такой разноцветностью ушей и с подпалинками под большими умными темно-кариими глазами морда Бима была даже симпатичней, приметней, может быть, даже умнее или, как бы сказать, философичней, раздумчивей, чем у обычных собак. И право же, все это нельзя даже назвать мордой, а скорее — собачьим лицом. Но по законам кинологии белый окрас, в конкретном случае, считается признаком вырождения. Во всем — красавец, а по стандартам шерстного покрова — явно сомнительный и даже порочный. Такая вот беда была у Бима.

Конечно, Бим не понимал вины своего рождения, поскольку и щенкам не дано природой до появления на свет выбирать родителей. Биму просто не дано и думать об этом. Он жил себе и пока радовался.

Но хозяин-то беспокоился: дадут ли на Бима родословное свидетельство, которое закрепило бы его положение среди охотничь-



их собак, или он останется пожизненным изгоем? Это будет известно лишь в шестимесячном возрасте, когда щенок (опять же по законам кинологии) определится и оформится в близкое к тому, что называется породной собакой.

Владелец матери Бима в общем-то уже решил было выбраковать белого из помета, то есть утопить, но нашелся чудак, которому стало жаль такого красавца. Чудак тот и был теперешним хозяином Бима: глаза ему понравились, видите ли, умные. Надо же! А теперь и стоит вопрос: дадут или не дадут родословную?

Тем временем хозяин пытался разгадать, откуда такая аномалия у Бима. Он перевернул все книги по охоте и собаководству, чтобы хоть немного приблизиться к истине и доказать со временем, что Бим не виноват. Именно для этого он и начал выписывать из разных книг в толстую общую тетрадь все, что могло оправдать Бима как действительного представителя породы сеттеров. Бим был уже его другом, а друзей всегда надо выручать. В противном случае — не ходить Биму победителем на выставках, не греметь золотыми медалями на груди: какой бы он ни был золотой собакой на охоте, из породных он будет исключен.

Какая же все-таки несправедливость на белом свете!

## ЗАПИСКИ ХОЗЯИНА

В последние месяцы Бим незаметно вошел в мою жизнь и занял в ней прочное место. Чем же он взял? Добротой, безграничным доверием и лаской — чувствами всегда неотразимыми, если между ними не втерлось подхалимство, каковое может потом, постепенно, превратить все в ложное — и доброту, и доверие, и ласку. Жуткое это качество — подхалимаж. Не дай-то боже! Но Бим — пока малыш и милый собачонок. Все будет зависеть в нем от меня, от хозяина.

Странно, что и я иногда замечаю теперь за собой такое, чего раньше не было. Например, если увижу картину, где есть собака, то прежде всего обращаю внимание на ее окрас и породистость. Сказывается беспокойство от вопроса: дадут или не дадут свидетельство?

Несколько дней назад был в музее на художественной выставке и сразу же обратил внимание на картину Д. Бассано (XVI век) «Моисей иссекает воду из скалы». Там на переднем плане изобра-



жена собака — явно прототип легавой породы, со странным, однако, окрасом: туловище белое, морда же, рассеченная белой проточиной, черная, уши тоже черные, а нос белый, на левом плече черное пятно, задний костреч тоже черный. Измученная и тощая, она жадно пьет долгожданную воду из человеческой миски.

Вторая собака, длинношерстная, тоже с черными ушами. Обесилев от жажды, она положила на колени хозяина голову и смиренно ожидает воду.

Рядом — кролик, петух, слева — два ягненка.

Что хотел сказать художник, поместив собаку среди людей на передний план? Видимо, он хотел сказать, что люди любили собак еще с глубокой древности, никогда их не покидали, даже в несчастье, даже на грани гибели народа, а собаки оставались преданными и верными, готовыми погибнуть вместе с человеком.

Ведь за минуту до этого все люди были в отчаянии, у них не было ни капли надежды. И они говорили в глаза спасшему их от рабства Моисею:

«О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывел ты нас в эту пустыню, чтобы всех собравшихся умерить голодом».

Моисей с великой горестью понял, как глубоко овладел людьми дух рабский: хлеб в достатке и котлы с мясом им дороже свободы. И вот он высек воду из скалы. И было в тот час благо всем, идущим за ним, что и ощущается в картине Бассано.

А может быть, художник и поместил собак на главное место как укор людям за их малодушие в несчастье, как символ верности, надежды и преданности? Все может быть. Это было давно.

Картина Д. Бассано около четырехсот лет. Неужели же черное и белое в Биме идет от тех времен? Не может того быть. Впрочем, природа есть природа.

Однако вряд ли это поможет чем-то отстранить обвинение против Бима в его аномалиях расцветки тела и ушей. Ведь чем древнее будут примеры, тем крепче его обвинят в атавизме и неполноценности.

Нет, надо искать что-то другое. Если же кто-то из кинологов и напомним о картине Д. Бассано, то можно, на крайний случай, сказать просто: а при чем тут черные уши у Бассано?

Поищем данные ближе к Биму по времени.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н. Г. Гладкова (Троепольская)</i>	
Он не мог не писать ( <i>Воспоминания об отце</i> ).....	5
<b>БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО. Повесть</b> .....	19
<b>ПРОХОР XVII И ДРУГИЕ. Из записок агронома</b>	
Никишка Болтушок .....	181
Гришка Хват .....	193
Игнат с балалайкой .....	212
Проход семнадцатый, король жестянщиков .....	232
Прицепщик Терентий Петрович .....	267
Тугодум.....	286
Один день .....	303
<b>КАНДИДАТ НАУК. Повесть, отчасти сатирическая</b> .....	337
<b>В КАМЫШАХ. Повесть</b> .....	491
<b>У КРУТОГО ЯРА. Рассказы</b>	
У Крутого яра .....	637
Совесть хлебопашца .....	665
Агрономы.....	673
Соседи.....	682
<b>РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ РАЗНЫХ ЛЕТ</b>	
Митрич. Рассказ .....	711
Легендарная быль. Очерк .....	742
Паршивая фамилия. Рассказ .....	756
Экзамен на здравый смысл. Рассказ.....	765

## СОДЕРЖАНИЕ

---

Дорога идет в гору. <i>Очерк</i>	
О реках, почвах и прочем. <i>Очерк</i> .....	805
Город помнит! <i>Очерк</i> .....	849
Интервью сатирика .....	856